

ну. Никакой креативности, в лучшем случае генеративность – «вытянутость» (логическая, ассоциативная, любая другая) из оригинальных, в основном западных, источников. Когда Ю.Н. Солонин, выступая на Днях Петербургской философии, говорит, что «мы переживаем философские проблемы Запада с опозданием не менее чем в одно поколение» [4, 107], то он вообще-то не совсем точен. Оставим в стороне нерасшифрованное «переживаем», но заметим, что философии «второй свежести» не бывает, что банальность отличается от оригинальности только временем.

Для чего все это говорится? Отнюдь не для того, чтобы посыпать голову пеплом и упиваться, по заведенной русской традиции, миссионерской трагедийностью, страданием за все человечество. «Шире вселенной горе мое...» – можно ведь и так представить проблему. Нет, говорится все это для того, чтобы открыть шлюзы для правильных (беспощадно рефлексивных) выводов и наметить стратегию выхода на определенно новое качество, на действительно современные рубежи. «Россия – вперед!» – это вообще-то правильно, в том числе и для философии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вайль П., Генис А. Страна слов // Новый мир. М., 1991. № 2.
2. Делез Ж. Логика смысла. М., 1995 (Предисловие переводчика).
3. Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
4. Какая философия нужна современной России? // Личность. Культура. Общество. М., 2007. Том IX. Вып. 2 (36).



А.А. ПЕЛИПЕНКО

СУМЕРКИ ФИЛОСОФИИ (РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СТАТЬЕЙ А.Л. НИКИФОРОВА «НАУЧНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ФИЛОСОФИЯ»)

Скажу сразу: я согласен почти со всем, о чем говорит автор. Особенно когда он, смело отбрасывая пошлый и лицемерный политес, прямо заявляет, что король голый.

Давно пора. Но начать свои рассуждения я бы хотел с того, на чем автор заканчивает свои: на общей ситуации в мире философии.

«Достоин смерти все живущее» – сказал Гегель, видимо втайне надеясь, что чаша сия минет самою философию. Нет, не миновала. Если брать за целое эпоху европейского Модерна, то философский бум, сменив бум художественно-эстетический, к концу XIX в. сменился бумом научности. Если в начале XIX в. шутили, что и способ стрижки овец оказывается «философическим», то в конце его даже Шерлок Холмс, как литературный герой завоевывает читательские симпатии тем, что руководствуется сугубо научным методом. Философские вопросы и, в том числе те, ко-

Пелипенко Андрей Анатольевич – доктор философских наук, главный научный сотрудник Российского института культурологии (Москва). Наш постоянный автор.

торые автор называет в начале статьи, спустились с уровня высокой философии на уровень обывательского (или провинциального) доморощенного философствования. Дело не только в том, что невозможность ответить на них стала очевидной. Даже если бы нашелся некто, кто дал бы на них окончательный ответ, то он тотчас был бы проклят как могильщик философской метафизики и злодей, отнявший у философски ориентированных умов излюбленный способ психологической компенсации. (Вот за что, кстати, традиционные философы, так ненавидят постмодернистов.)

Как развивающееся явление философия умерла. И те формы рефлексии по поводу нее, которые развивает автор — лишнее тому свидетельство: в эпохи расцвета таких проблем не возникает. Здесь, впрочем, начинаются оговорки. О литературной линии в философствовании, как мне кажется, можно говорить лишь тогда, когда сама литература оформилась в качестве самостоятельного вида творчества. К Древней Греции это не применимо в любом случае. Там можно вести речь о литературности, но еще не о литературе как таковой. Или уж, по крайней мере, не приравнивать ее по своим культурным функциям к литературе Нового времени. Говорю это не для того, чтобы с позиции культуролога уличить философа в антиисторизме, а к тому, что «сползание» в литературность — это, при всех привходящих достоинствах, — очевидный симптом деградации жанра, разрушения чистоты стиля и исчерпанности своих собственных дискурсивных средств. Когда строгая тога картезиански ясных философских выкладок становится неубедительной, претенциозной и неуместной, мысль поневоле прячется в эстетические, а затем эстетские оболочки, т.е. пытается провезти свой груз под чужим флагом. А что еще оставалось делать после того, как лингвистические перевороты вскрыли языковой детерминизм всякого философствования, метафизика пала жертвой всеразьедающего релятивизма, а философское системостроительство оказалось неблагодарным и почти что презренным занятием? Махнуть рукой на неподатливую реальность, на строптивость отбившихся от философского патронажа наук, на неспособность завязавшейся в три рефлексивных узла философской сороконожки сделать хоть какое-то заметное телодвижение и, не беря на себя никакой профессиональной ответственности по собственно литературной части, заняться эстетическим самосозерцанием. Ничего плохого в этом нет, но в этом-то как раз и проявляется закат философии. Любой декаданс неизменно выражается в смещении смыслового центра от содержания к форме, инверсии предмета и средства. В данном случае, можно говорить о смещении этого центра от идеи к языку. Предмет философии растворился в ее дискурсивных средствах. Замкнувшись на себе, философия окуклилась и пренебрежительно отвернулась от мира, не желающего познаваться согласно установленным правилам. «Тем хуже для фактов!» Что удивительно, что философию, не желающую дружить с фактами и вообще интересующуюся вещами лишь постольку, поскольку они являются формальным поводом для самодовлеющих понятийных игр, выкинули из предметных наук за ненадобностью?

Когда я слышу, как философы обсуждают такие, к примеру, вопросы, как то, можно ли прорваться к объективности без «другого» или нельзя, бесконечно толкуя и перетолковывая Канта, Карнапа, Гуссерля, Хайдеггера и др., я, даже не будучи психотерапевтом, вижу, что они, трогательно обживая свой жалкий и провинциальный сарайчик из слоновой кости, решают исключительно свои внутренние психологические проблемы: отгораживаются от отвратительной, пугающей, убогой и донельзя тоскливой социальной действительности. Ведь что бы не происходило в стенах этого сарайчика, какие бы

ответы не находились на эти, казалось бы, фундаментальные метафизические вопросы, это будут ответы *уровне слов* и не более того, и, стало быть, в реальной жизни даже самих философов равным счетом ничего не изменится. Вернее, изменения сводятся лишь к терапевтическому воздействию на психику словесных конструкций.

Можно сколько угодно говорить, что постмодернизм – скорее плохая литература, чем хорошая философия, но именно он имел мужество ясно признать сложившееся положение дел. Признать и предложить выход: неприятный, циничный, непереносимый для традиционного снобизма профессиональной философии. Но то был единственно возможный выход: сплясать перед смертью веселую чечетку на гробах. «Снять очки и весело рассмеяться!» (У. Эко). А что же дальше? А дальше только два пути: либо продолжать постмодернистский шабаш позерского эстетства мысли, либо с серьезным видом копать в ничтожных и давно никому не интересных вопросах. (Сознательно несколько форсирую здесь авторскую мысль.) Всякий третий путь лежит уже за пределами философии, а потому, этого вопроса касаться не буду.

Несколько слов о некоторых цитируемых автором философах. Что касается Хайдеггера, то здесь, мне кажется, дело обстоит несколько сложнее, чем представляется автору. И мужицкое косноязычие, и назойливые тавтологии, и прочие нарушения правил традиционного философского рассуждения у Хайдеггера – это не пустая манерность или, тем более, непросвещенность. Это – единственно возможный путь достичь того глубинного опрощения философского языка и самой мысли, когда первичный синкретизм обеспечивает словам исключительную смысловую и энергетическую насыщенность. (Не случайно Хайдеггер так любил досократиков.) Отсюда и волхования вокруг слов, стремление смыть с них многослойную накипь вторичных и обесмысленных значений. (Вспомним хадеггеровские экзерсисы вокруг слова «день» (Tag). «Дневной день денно да продниться»). С точки зрения традиционного философского дискурса – полнейшая бессмыслица. Но цель подобных опусов совершенно иная, имеющая к философии лишь то отношение, что возвращает мысль к ее первичным синкретическим истокам, сакрально-ритуальным и, по сути своей, магическим.)

Артикуляция слова в древнем, додискурсивном и дологическом сознании есть совершение магического акта, вызывающего переживание, а стало быть, вводящего в реальное присутствие те или иные блоки культурного опыта. Искаженным отголоском этих когнитивных практик является многократно наблюдаемое у детей «зацикливание» на той или иной вербальной конструкции – слове или фразе, семантика которой, если и осознавалась первоначально – полностью стирается, будучи обращена не к семантическому тезаурусу, а к неким тайным кладовым подсознания, ожидающим магического ключа для раскрепощения спрятанных в них первозданных энергий смыслообразования.

Ребенок как бы методом проб и ошибок подбирает вербальный ключ-заклинание, на ходу переделывая, переиначивая исходную форму. И когда код находится, происходит «зацикливание» – погружение в ситуацию экзистенциальной сопричастности, которую сознание стремится продлить путем бесконечных повторов ключевого слова. Но эти повторения-заклинания не должны, тем не менее, представлять собой и простое механическое повторение: оно неизменно фрустрирует психику. Необходимо некоторое разнообразие, палитра оттенков, провоцирующая разброс смысловых флуктуаций. Слово здесь выступает не операбельной семантической единицей, а неким магическим ключом, с помощью которого сознание погружается в

мир прямого внедискурсивного знания-переживания: целостного, синкретического, не испорченного и не спрофанированного рефлексией.

Такого рода «зацикливание» наблюдается и у душевнобольных. Интересны в этом отношении наблюдения Ж. Лакана. Так, одна из его пациенток «...явно пребывала в ином мире, в мире, где основным ориентиром служило слово *galopiner*». Слово это, утратив денотат в общепринятом смысле, стало формой, которая «...приобретает свое значение только тогда, когда само значение уже ни к чему не отсылает. Она представляет собой настойчиво повторяющуюся и прокручивающую стереотипную формулу». Такую форму Лакан называл ритурунелью. И что характерно, сами душевнобольные, отмечают, что ритурунель (ключ-заклинание) не просто актуализует некий важный субъективный опыт и структурирует внутреннее ментальное пространство, но и «запускает» полноценную трансценденцию, вводя в пространство опыта внешнего, изначально экстерииоризованного и переживаемого целостно, холистично.

Таким образом, Хайдеггер героически боролся с кризисом философского рационализма и рациональности в широком ее понимании. Для себя. Вероятно, он эту проблему отчасти решил. Но общий кризис философии, разумеется, на этом пути преодолен быть не мог.

Что же касается цитируемого автором М.К. Мамардашвили, то здесь я целиком и полностью с ним солидарен. Хотя предвижу, что автору наверняка придется столкнуться с гневными окриками и суровыми инвективами со стороны многочисленных поклонников означенного философа, который на позднесоветском безрыбье стал чуть ли не культовой фигурой.

Я всегда задавал себе вопрос: почему я не могу его читать? Почему это в меня не входит, и заставляя себя читать его тексты (особенно поздние), я постоянно замечаю, как где-то в глубине поднимается мощный неосознанный протест? Почему читая, к примеру, как минимум, не менее сложные тексты Канта или Гегеля, я впитываю их содержание вполне органично и, более того, способен восхищаться поистине захватывающей дух красотой мысли, вовсе не сводимой к изяществу стиля, которое, увы, как правило, сильно страдает от перевода?

Ответ находил даже не в особенностях языка изложения, хотя и это тоже важно. Здесь, кстати, автор находит совершенно точные характеристики этого невнятного словоплетения. Главную причину неприятия я видел, прежде всего, в слабой структурированности текста как целого. Неспособность дотянуться мыслью до ключевых смысловых узлов, невозможность их «просканировать» дабы схватить общий «гештальт», меня донельзя раздражала. Кроме того, я полагал, что где-где, а в философском дискурсе, в отличие от литературы, такие вещи как бесконечное хождение кругами, нагромождение неточных и необязательных метафор, хаотические перескакивания от темы к теме и скачки между смысловыми уровнями совершенно недопустимы. Оказалось, допустимы. И, более того, именно такой характер изложения мысли весьма органичен для значительной части нашего отечественного философского сообщества. Случайно оказавшись в 1995 г. на чтениях, посвященных Мамардашвили, я с тоской и ужасом почувствовал себя белой вороной. Оторопь вызывало не только наблюдение за тем, как на пустом месте творят кумира (ведь даже провинциальное франкофильство М.К. тоже истолковывалось как проявление гениальности!), но и, прежде всего, столкновение с принципиально иным типом сознания: будто случайно попал в гости к марсианам или случайно оказался среди участников некоего тайного загово-

ра. С каким упоением его носители погружаются в вязкий кисель слабо структурированной мысли! Какое наслаждение вызывает у них процесс «разматывания» клубков полубессвязных метафор, улавливание отзвука отзвуков и отражения отражений! То есть всего того, что есть даже не литература, а *имитация* философии, интеллектуальная декорация при инфантильном увилывании от ее (философии) реальных проблем. Здесь сознание, напуская на себя предельно серьезный вид, занимается словесными играми, даже не пытаясь, в отличие от честных рационалистов, ставить и действительно решать какие-либо настоящие вопросы. Поэтому качество мысли здесь вообще никакой роли не играет, а воспоминание о нем вызывает раздражение и обиду. А иногда и искреннее непонимание. Что ж, каждый вправе искать свой ответ на кризис рационализма. Кроме того, тип сознания не выбирают. Если оно испытывает аллергию от «чрезмерной» упорядоченности, стало быть, оно просто так устроено. Нельзя отнимать права на существование и у такого способа восприятия мира. Но, не слишком ли уютно устроилось оно в нише между философией и литературой, пользуясь ресурсом и того, и другого, но отказываясь при этом нести какую либо «гражданскую ответственность» в обеих странах? Впрочем, бог им судья.

В целом же, суждения автора мне весьма близки. Кроме того, они импонируют своей смелостью и непредвзятостью, за которую автору, несомненно, попеняют. И здесь я готов выступить его адвокатом.

Что же касается общей оценки нынешней культурной ситуации: это насчет испачканной краской штанов и рева электрогитар (кстати, я не совсем понял, что или кто здесь имеется в виду), то осмысление этого — уже не столько сфера философии, сколько культурологии, которая пока что, к счастью, не утратила интереса к вещам.



О.К. РУМЯНЦЕВ

НАУЧНАЯ ИЛИ/И ЛИТЕРАТУРНАЯ ФИЛОСОФИЯ?

Статья А.Л. Никифорова «Научная и литературная философия» завершается выразительной сентенцией, указывающей, куда нас завела литературная философия: «Я не удивлюсь, если вскоре в свет выйдет книга под названием “Конец философии”».

Если вести речь не о названии, а о сути дела, то подобных книг вышло уже предостаточно, и первым о конце философии сказал Гегель, которого трудно обвинить в «литературности» в ущерб рационализму. Однако это предупреждение сначала услышали немногие: фактически лишь А. Шопенгауэр, К. Маркс и О. Конт. Они понимали, что речь идет о закате более чем двух с половиной тысячелетней традиции истории классической европейской культуры. Дело в том, что после Гегеля стало очевидно, что мысль не может обосновать сама себя, но ее детерминантом выступа-